

Борис Васильев

Красные жемчуга

«Грешно живешь, мать, грешно!.. — сердито кричал муж. — Ты на нас глянь, на нас!..»

Он сидел за столом, но не с торца, не в красном углу, а спиной к окну, и сыновья строго молчали по обе его стороны. Все трое были в гимнастерках, с провальными, невидящими глазами, и рот у отца тоже был черным, провальным, без губ и без языка и открывался будто совсем не для тех слов, которые она слышала.

«Грешно живешь!..»

«Да не то ведь, не то сказать-то хочешь, — шептала она, давясь слезами от тоски и жалости. — Ты землю, землю изо рта-то выплюнь, отец, выплюнь, тогда и скажется заветное. А вы, сыночки, вы чего молчите? Вы отцу помогите, помогите ему. Гриша, Шурка, что же вы-то молчите, что?... Ай, да вам ведь тоже рты землю забило. Сырою землю могильною... Сыночки вы мои, помогла бы, да где искать-то вас? В каких странах, каких государствах?...»

— И-и-и!..

Вскинулась старуха, ломая тонкий предутренний сон. Пропали муж, сыновья,

провальные пустые глазницы, провальные пустые рты. А визг остался.

— И-и-и!..

Каждое утро будили ее этим истошным воплем три раскормленных заматерелых борова. Будили еще до того, как она начинала видеть сны, а сегодня то ли родные привиделись раньше, то ли свиньи запоздали и теперь наверстывали, голосили на все выселки, на все их Красные Жемчуга. И старуха, кое-как накинув юбку и лица не сполоснув, босиком пошлепала в сени, где стоял бак с приготовленным пойлом. А опомнилась, только когда свиньи с довольным урчаньем и чавканьем начали жрать, отпихивая друг друга крутыми, налитыми салом и силой боками.

Третий раз снились ей муж и сыновья, сгинувшие на бесчисленных фронтах войны: отец — в сорок втором под Семилуками, а Гриша и Шурка, братья-погодки, один за другим — в сорок пятом в чужих краях за тридевять земель. Всю жизнь снились урывками и порознь, а тут — вместе, и когда это случилось впервые, старуха очень обрадовалась, а второй — запечалилась и всплакнула во сне. Но сегодня дорогой этот сон, это чудом даренное ей свидание с родными не принесло ни радости, ни светлой печали, а принесло тревогу, которая уж и не оставляла ее. И, невидяще глядя на жрущих свиней, не чувствуя ни

утренней свежести, ни холода, старуха долго стояла у закута, ощущая смущенной душой непонятное беспокойство. «Господи, да почему грешно-то живу, почему? — почти с отчаянием думалось ей о так ясно услышанных во сне словах мужа. — Да в чем грех-то мой, отец, в чем?...»

Бесконечно задавая то себе, то покойному мужу этот тревоживший ее вопрос, старуха вернулась в избу, умылась, оделась, положила из чугуна в миску холодной картошки, достала хлеб, лук и соль и села к столу. Она уже давно — с той поры, как младшая дочь Светлана вышла замуж и уехала в город, — ничего себе не готовила. Чистила варенную в мундире картошку, макала в соль, закусывала луком и хлебом, долго, старательно жевала уцелевшими зубами, а в голове неотвязно стучало: «За что же он упрекнул-то меня, в чем грех-то увидел? Ведь жили-то как, господи! Никакой бабе такое счастье и не снилось, как мы жили...»

В двадцать шестом, что ли... Да, в двадцать шестом — Шурка маленький был, грудной — еще колхозов никаких нигде не существовало, еще и слова-то такого никто не знал, а ее муж, бывший красноармеец и член партии большевиков, сам предложил организовать коммуну, чтобы все было общим. Собрал бедноту, демобилизованных бойцов, сочувствующих и понимающих, провел

митинг, но село было большим и богатым и не приняло этого, а город еще ничем и никак не мог помочь, и решили тогда они, первые коммунары, выселиться, уйти и от старого мира, и из старого мира. И отселились с красным флагом и гармошкой, отстроились на взгорье у речной излучины, и дома у всех были одинаково новыми и одинаково радостными, потому что строили их сообща, дружно строили, всей коммуной, со щами из общего котла. А как отстроили последний дом, объявили праздник, которого давно, ох, как давно ждали и желали, и назвали этот свой первый праздник, что случился у них через два года после отселения. Днем Красных Крестин нового поселка. И начали с красного флага, гармошки и митинга: как назвать? Каждый свое предлагал: кто — революционное, кто — привычное, кто — ласковое, кто — с шуточкой, а потом поднялся ее муж, первый председатель их коммуны, и сказал:

— В гражданскую войну, в двадцатом годе, наш геройский крестьянский полк поймал вредного попа, который бежать наострился с награбленным народным добром. Три сундука при нем было, и как открыли мы один, так будто ослепли: одежи там лежали церковные, и все сплошь в камнях такой красоты, какая простому люду и во сне не приснится. И играли те камешки, ровно как наше светлое будущее, почему и предлагаю

категорически назвать наши выселки — Жемчуга. А чтоб ясно всем было, что не поповские то жемчуга, а нарядное будущее наше, то добавить обязательное слово «красные». Красные Жемчуга — вот как назовем мы свои новые выселки, чтоб дети и внуки наши жили в денечках радостных и праздничных, как те камешки-жемчуга!

Так и назвали: Красные Жемчуга. И везде-везде — во всех бумагах и картах и на почте так называлось, и приезжающие всегда радостно удивлялись, что такой у них поселок, где каждый дом, как у соседа: жемчуг к жемчугу.

Старуха... да какая она тогда была старуха: не старуха, а молодуха!.. с двумя малыши здесь жизнь начинала, с Гришей и Шуркой, а потом еще двух девок родила — Полю и Свету. Тесно стало в доме: шутка ли — четверо детей, да и сами не стары еще, не запечные тараканы! — но в сороковом году муж первым в районе большой орден получил за бессменную свою председательскую работу, за бойкие дни да бессонные ночи, и местные власти заодно с колхозом решили за этот труд отстроить ему новый дом. И отстроили, и в субботу новоселье закатили на всю округу — сам секретарь райкома приезжал и речь говорил! — а в воскресенье война началась. Мужья ушли первыми, за ними сыновья потянулись, а там и доченьки, если возраст подходил. Уходили люди, а приходили похоронки;

вой стоял над Красными Жемчугами денно и ночью, и самой горькой была тогда должность почтальона: Полюшка ее чужим горем опилась, да и своегохватило. Потускнели их Жемчуга.

— Договорились мы с властями, что будет у нас в наших Красных Жемчугах своя советская лавка, — говорил в День Красных Крестин муж на общем митинге. — Будут привозить нам всякие нужные товары, но давайте, дорогие товарищи, дорогие мои братья и сестры, твердо решим, что водки никогда у нас не будет. Царская это отравка, продукт разложения, товарищи коммунары, и пускай ее буржуи пьют! А у нас что ни день, то праздник, зачем же нам водка? Водка тому нужна, у кого праздников нет!

Как же он тогда правильно сказал, муж-то ее: у кого праздник, тому водка не нужна. А в войну не стало праздников, и потекли слезы да водочка, водка да слезоньки.

А Полюшка в сорок шестом померла, и восемнадцати не исполнилось. На чужом да своем горе, на общем да своем труде все жилочки надорвала и зачахла, как цветок. И от всей семьи в четверо детей при отце с матерью оставила война ее да Светку. Мать и дочь.

Господи, откуда же тоска эта да тревога?...

Светка умной росла, старательной: лучше всех школу закончила, и колхоз — это при тогдашней-то

нищете! — на свой кошт послал ее в райцентр доучиваться до среднего образования. За питание и жилье деньги переводил и даже два раза в год школьной формой вроде как премировал. И за личные успехи, и за сиротство, и за труды и заслуги ее отца, основателя Красных Жемчугов и бессменного — до самой войны — председателя их колхоза. И хоть многое уже изменилось, и хоть не осталось ни одной семьи, какую бы война не перепахала, а помнили его, уважали и чтили, и на дочь это уважение падало. И Света все понимала, очень старалась, закончила свое образование и вышла замуж в райцентре. А через четыре года мужа в область перевели, и она туда перебралась, навсегда отрезав и родной колхоз, и отцовскую память, и материнскую старость.

А может, из-за Светки муж и говорил ей: грешно, мол, живешь?... Ах, кабы понять его, безъязыко кричащего ртом, землей забитым, ах, кабы понять... Терзала себя старуха, тыркалась но огромной, пустой, гулкой избе своей, места в ней не находя. И маета в душе давила, и тоска ее грызла, и мысль, одна мысль изводила: в чем грешна-то, в чем, господи?... А ведь грешна, коли покойники покою не знают и из братских могил ночами встают, сквозь другие тела продираясь.

Думая о словах мужа, так ясно услышанных ею, и о непонятном грехе своем, в котором он ее

обвинял, старуха пыталась что-то делать, чем-то заняться, но все сегодня валилось у нее из рук. Только привычное, не требовавшее как бы и самого присутствия ее, а лишь проросших в памяти движений, было ей доступно: она варила картошку для свиней и для себя, рубила сечкой лебеду с крапивой, запаривала пойло в печи — и все, как машина, будто и не она это, и все с тревожной думой: какого же откровения, какого покаяния требовал от нее муж, убитый полвека назад под Семилуками? Мысли эти терзали ее, не отпуская ни на секунду, не давая отдыха, звеня в ней натянутой струной, изматывая и изматывая. «Господи! — в отчаянии простонала она. — Хоть ты подскажи, в чем грех-то мой, господи!..» И вдруг затихло все в душе ее, замерло в ясном, напряженном ожидании, и она поняла, отчетливо поняла, пронзительно и просто, что ей необходима молитва. Все равно кому — богу ли, святому ли какому, чудотворцу или божьей матери, а только надо, надо не для чуда, а для себя, для своего спокойствия и света совести своей.

Господи, да как же просто все оказалось! Она впервые несмело улыбнулась, впервые присела, впервые оглянулась и увидела, что на улице ясно и солнечно и что гроздя у рябины, которую посадили под окном Гриша и Шурка, давно уже налиты краснотой, а лист пожух и свернулся. Все

она увидела и все постигла — прозрачную ясность и тишину осени, вечный покой мира и собственную суетность, шорох пожухлой листвы и свое уходящее время. И еще то, что давно не молилась, с юности, с цвета своего, и что позабыла уже все молитвы. «Это ничего, ничего, — спокойно думалось ей. — Это пустяк, я ведь от чистого сердца, от совести своей, а значит, поймут, если даже и не по правилам. Вот встану на колени и...»

И оглянулась в растерянности. Огромной была изба, гулкой, нежилой, а потому студеной и в самый жаркий июльский полдень, как бывает студеным лесной одичалый ключ. Стол, две лавки, четыре стула, шкафчик, да полки, да огромная деревянная кровать, на которой давно уже никто не спал. Два выцветших плаката на стенах, фотографии под стеклом да четыре Почетные грамоты — три мужа и одна ее. С десятков запыленных книг на полке, старый календарь, несколько пожелтевших картинок из «Огонька», что еще Светка прикрепила, и... И все. Икон не было ни в углу, ни на стенах, ни в сундуках, ни в подполе.

Не было вообще: их не взяли из старой жизни в новые Красные Жемчуга. Не было икон, и не перед чем было молиться, встать на колени, открыть душу свою и получить облегчение. В молитве можно было обойтись без книжных слов,

можно было заменить их своими — лишь бы от сердца шли! — но лишить молитву обращения было невозможно. Она вдруг отчетливо вспомнила строгие темные лики, пронзительно глядящие прямо в душу, и поняла, что не успокоится, не найдет себе места, доколе не увидит этих ликов еще раз, не падет перед ними на колени, не поведает им смущения своего. А решив так, не стала тратить времени: надела темную жакетку, строгий вдовый платок и пошла по Красным Жемчугам.

Многое здесь изменилось с послевоенного времени. Исчезли целые семьи с повыбитыми кормильцами, переехали к родственникам одинокие вдовы и матери; кто перебрался в город, кто продал свой дом и ушел неведомо куда: и даже колхоза тут больше не было, а была ферма при совхозе, центральная усадьба которого располагалась в том самом селе, откуда они когда-то уходили с гармошкой и красным флагом. Старуха жила по-деревенски замкнуто, новых соседей не знала и шла сейчас в те три-четыре избы, где еще держался коммунарский дух Красных Жемчугов. И первой на этом пути была старая Тихоновна, когда-то громкая и смешливая старухина подружка.

— Икону?...

В отличие от сухонькой старухи Тихоновна была громоздка, тяжела и басовита. Муж ее погиб все в том же сорок втором, но единственный сын

уцелел, отдав войне руку по самое плечо, и бригадирствовал, пока не спился окончательно и не помер в одночасье. Однако до этого успел жениться (выбор был в деревнях в ту пору — хоть из тридцати!) и нарожал столько, что и по сей день не все еще успели разбежаться по чужим краям и городам, почему Тихоновна и считалась самой счастливой в Красных Жемчугах и была таковой на самом деле.

— Наши с тобой ведь мужики в День Красных Крестин со всех дворов силой иконы собрали, сложили в кучу да и сожгли. Вспомнила теперь тот костер? Все в нем горело — и материнские благословения, и отцовские наставления, и семейные укрепы. Да, подружка. Силой, помнится, наши покойнички — царствие им небесное! — иконки-то из рук рвали, будто у лютых врагов. А оно вона как обернулось: и лба перед смертью перекрестить не на что.

— Не на что, — робким эхом откликнулась старуха.

Тихоновна долго глядела на нее выцветшими, влажными, как у коровы, глазами. Пожевала толстыми размякшими губами, сказала строго:

— А бога-то ведь нет. Нету его, подружка моя, потому как если бы он был, он бы не допустил. Совершенно бы не допустил.

— Чего не допустил?

— А всего этого. Чтоб, скажем, пили. Чтоб воровали. Чтоб все абы как, а себе — хоть рупь, и тот на водку. Помнишь, как мы за твоим-то шли, подружка? Он впереди с красным флагом, а мы за ним с детьми на руках да все семнадцать верст. Идем и поем, поем и идем, и радость такая... Такая... Ты помнишь, подружка, радость ту нашу? Где она сейчас, наша радость, а?

— Где?... — зазвенело вроде или показалось так старухе, а только опять она увидела стол, сынов и мужа посередке с черными, забитыми землей ртами. — Фашист нашу радость стоптал.

— Ну коли один фашист, так тебе и молиться не надо. Коли нашла виноватого, то на тебе и греха нет, зачем же тебе икона?

— Грех? — обмерла старуха. — Стало быть, полагаешь так, что есть он, грех-то?

— Есть, — важно сказала Тихоновна. — Бога нет, а грех есть. И у каждого — свой. Вот ты свой-то грех и отыщи, и тебе полегчает. А бога все одно нет, не верю я, не верю, что мог до такого нас допустить. Сами мы во всем виноваты, нечего на бога кивать: грех есть, а бога нет. Вот как я считаю.

Обе подружки долго молчали, одинаково жуя то ли закаменелые слова, то ли кусочки размягших мыслей и одинаково горестно кивая усталыми головами.

— Помолиться надо бы, хочется мне помолиться, — по-детски беспомощно вздохнула старуха. — Будто горит во мне, жажда будто, и ничего, кроме чистой воды, душа не примет.

— Да, подружка. Брели мы через жаркую пустыню, а куда брели, то и поводырям нашим неведомо. С песнями брели, только где теперь теи песни и теи поводыри? — Тихоновна скорбно помолчала и неожиданно деловито закончила: — К Лукерье зайди. Она всю жизнь хитрюще жила, всю жизнь ужой скользила, так, может, припрятала где-нито иконку, а? Ужой жила, ужой из всех рук выскальзывала, и тогда могла выскользнуть. Уж если кто и мог тогда выскользнуть, так только она.

Лукерья была худой, скрюченной и злющей. Маленькие глазки глядели на все с подозрением: на людей, на скотину, на стены, на само солнце. Она больше не верила никому и ничему, не ждала от других ни доброго слова, ни доброго дела и жила так, словно все кругом только того и желали, как бы половчее обмануть да покруче повернуть.

— Молитву тебе? — злорадно протянула она. — Икону тебе? Бога тебе? И все — тебе? А где же — нам? Раньше-то, забыла, что ли? Раньше-то, прежде-то, при молодых мужиках наших, что орали? А то орали, что все ам да ам, нам да нам. А теперь, значит, другого лазаря запели: мне? А «мне» давно в дерьме, слыхала? Наше все. На-ше.

Земля наша, вода наша, сеялки-веялки, закон и правда — все наше. Уря! Ну, жри это «наше», жри, давьсь, покуда не разорвет тебя. А, невкусно? На чужом горе в рай въехать хотели, а того не скумекали, что в рай ворота узки, вот друг дружку и подушили. А хочешь знать, почему так все, а? А потому, что нельзя дорогу в рай пожарами освещать. У бога времени много, у него век что миг, а, однако, и он не стерпел да и вдарил. Под самый корешок вдарил: сколько от твоего-то племени уцелело? Один внучок, да и тот дурачок? А у меня и того нету. И таких, как я, почитай, вся Россия. Так икону тебе после этого? Доску гробовую размалюй да и молись на нее, чтоб было кому глаза закрыть да в гроб положить. Или так надеешься, что тебя дочка с зятем из города хоронить приедут?

— Не приедут, — вздохнула старуха. — Тоска меня гложет, Лукерья, такая тоска...

Лукерья зло пялилась маленькими колючими глазками...

— Пойду я, а? — несмело спросила старуха, помолчав.

— Чего? — тяжело очнулась Лукерья. — А, старая? Спасись хочешь? Не спасешься. Нет, не спасешься. И никто не спасется, все ответят. Все!..

Спасись? Нет, она совсем не думала о спасении, да и о собственной ответственности тоже